

© 2003 г.

П. БУРДЬЕ

СОЦИОЛОГ ПОД ВОПРОСОМ

Интервью с P. Thuillier*

Вопрос: Почему Вы употребляете особый и нарочито трудный стиль речи, который часто делает Ваши собственные рассуждения недоступными для непосвященного? Нет ли противоречия между тем, что Вы осуждаете монополию, которую себе захватили ученые, и тем, что воссоставляете эту монополию стилем той речи, которая ее осуждает?

Ответ: Часто бывает достаточно позволить себе говорить обычным языком, довериться не-принужденности в речи, чтобы принять, не ведая того, определенную социальную философию. Словарь напичкан политической мифологией (я имею в виду, например, такие пары прилагательных, как "блестящий - серьезный", "низкий - высокий", "редкий - обычный" и т.д.). Приверженцы "здорового смысла" чувствуют себя в обычной речи как рыба в воде. Опираясь в сфере языка, равно как и повсюду, на объективные структуры, они могут - почти на уровне эфемеризмов - говорить языком чистым, как родниковая вода, и критиковать сложную речь. Напротив, социальные науки должны завоевывать все то, что они противопоставляют устоявшимся и расхожим идеям, распространяемым обычным языком, а также выразить завоеванное в речи, предназначенной для выражения совершенно иного. Сломать речевые автоматизмы - не значит искусственно создать отличие превосходства, ставящее непосвященного на почтительное расстояние. Это означает разорвать с социальной философией, вписанной в спонтанные рассуждения. Ведь употребить одно слово вместо другого зачастую все равно что произвести решающую эпистемологическую замену (которая, кстати, рискует оказаться незамеченной).

Однако дело не в том, чтобы, избегая автоматизма здравого смысла, впасть в автоматизм критицизма, со всеми этими словечками, которые слишком долго функционировали как лозунги или призывы, со всеми этими высказываниями, которые служат не словесной точности выражения реальности, а затыканию дыр в знании. (Такова часто функция понятий с большой буквы и вводимых положений, которые зачастую оказываются не чем иным, как символом веры, по которому один верующий узнает другого.) Я имею в виду тот "basic marxism", как говорит Жан-Клод Пассрон, который расцвел в последние годы во Франции. Этот автоматический язык, работающий самостоятельно, но совершенно вхолостую, позволяет, с помощью небольшого числа простых понятий, говорить обо всем при минимуме усилий, не понимая при этом ничего. Простой факт концептуализации часто приводит к эффекту нейтрализации и даже отрицания.

Язык социологии не может быть ни "нейтральным", ни "прозрачным". Слово "класс" никогда не будет нейтральным, пока существуют классы: вопрос о существовании или несуществовании классов есть ставка в борьбе между ними. Работа над стилем письма, необходимая для достижения строгого и контролируемого использования языка, лишь иногда приводит к тому, что называют ясностью, т.е. к укреплению очевидных понятий здравого смысла или фанатичных верований.

Строгое исследование, в отличие от литературных поисков, почти всегда приводит к тому, что красивая формулировка, обязанная своей силой и ясностью тому, что она упрощает или

* Bourdieu P. Le sociologue en question. L'entretien avec P. Thuillier // La recherche. 1980. № 112. P. 738-753. Здесь представлены вопросы, показавшиеся П. Бурдьё наиболее важными среди тех, что наиболее часто задавались в ходе различных дискуссий, проведенных в Париже (Высшая политехническая школа), Лионе (Народный университет), Гренобле (филологический факультет), Труа (Университетский институт технологий), Анже (филологический факультет).

фальсифицирует, приносится в жертву ради выражения, более неблагозвучного, более тяжело-весного, но более точного и более контролируемого. Таким образом, трудность стиля вытекает из всех этих нюансов, корректировок и предостережений, не говоря уже о возвращении к определениям и принципам, которые необходимы для того, чтобы рассуждение несло в себе самую защиту от искажений и ложных толкований. Внимание к этим *диакритическим знакам*, несомненно, прямо пропорционально бдительности, т.е. компетентности читателя, - из чего следует, что предостережения тем лучше воспринимаются читателем, чем более они для него бесполезны. Несмотря ни на что, можно надеяться, что они лишают силы пустословие и эхолалия¹.

Но ч социологии необходимость обращения к искусственному языку проявляется, быть может, сильнее, чем во всех остальных науках. Чтобы разорвать с социальной философией, озабоченной употреблением повседневных слов, а также, чтобы выразить то, что повседневный язык выразить не может (например, все, что существует как "само собой разумеющееся"), социолог должен обращаться к изобретенным словам и посредством этого защищаться, хотя бы относительно, от наивных проекций здравого смысла. Такие слова настолько сильнее защищены от искажений, насколько их "лингвистическая природа" делает их предрасположенными сопротивляться наивному чтению (например, понятие габитуса, подразумевающего опыт или даже собственность или капитал) и особенно возможно, когда они включены, зажаты в сеть отношений, навязывающих свои логические принуждения. Например, слово аллодоксия хорошо выражает то, что трудно объяснить и даже высказать малым количеством слов: тот факт, когда одна вещь принимается за другую, что какая-либо вещь кажется не такой, какая она есть и т.д. - это слово понимается благодаря тому, что стоит в ряду однокоренных слов: докса, доксософ, ортодоксия, гетеродоксия, парадокс.

Это говорит о том, что трудности передачи сути социологического исследования гораздо меньше, чем это полагают, обязаны трудностям языка. Первая причина непонимания заключается в том факте, что читатели, даже наиболее "культурные", имеют лишь весьма приблизительное представление об условиях производства суждений, которые они пытаются усвоить. Например, существует "философское" или "теоретическое" чтение работ по социальным наукам, которое заключается в том, чтобы удерживать в памяти "тезисы", "заключения", независимо от тех приемов работы, продуктом которых они являются. (Конкретно это означает "перескакивание" через эмпирический анализ, статистические таблицы, указания на методику исследований и т.д.) Читать таким образом - это читать совсем другую книгу. Когда я "конденсирую" оппозицию между народными классами и господствующим классом в виде оппозиции между приматом субстанции (или функции) и приматом формы, кому-то слышится лекция по философии. Между тем, в голове должно появляться представление, что одни едят фасоль, а другие салат, и что различия в потреблении, отсутствующие, либо слабо выраженные, когда речь идет о нижнем белье, весьма сильно проявляются в отношении верхней одежды и т.д. Конечно, мои выкладки являются результатом приложения очень абстрактных схем к очень конкретным вещам: к статистике потребления пижам, трусов или брюк. Отнюдь не очевидно, что, просматривая статистику пижам, станут думать о Канте. Все школьное обучение скорее мешает обдумывать по Канту то, что относится к пижамам, и думать о пижамах, когда читают Маркса (упомянут Маркс потому, что с привлечением Канта в моих рассуждениях вы легко согласитесь; между тем, в рассматриваемом отношении это одно и то же).

К этому следует добавить, что читатели не знают или отвергают сами принципы социологического способа мышления, понимаемого как желание "объяснять социальное через социальное", говоря словами Дюркгейма, которое часто воспринимается как имперские амбиции. Но простое незнание статистики или, скорее, отсутствие привычки к статистическому способу мышления приводит к смешению представлений о вероятном и необходимом (например, при установлении связи между социальным происхождением и успехами в системе образования). Что порождает всякого рода абсурдные обвинения, будь то упреки в фатализме, или беспредметную аргументацию, как в случае с провалами на экзаменах части детей господствующего класса. Эти провалы, наоборот, есть основной элемент статистического воспроизводства. (Между тем, один "социолог", член Института Франции, потратил массу сил, чтобы доказать,

¹ Эхолалия - термин из психиатрии. Название одного из симптомов психического заболевания, проявляющегося в непрерывном, навязчивом и бессмысленном повторении больным тех или иных фраз, речевых фрагментов, слов. - *Прим. ред.*

что не все сыновья выпускников Политехнической школы становятся учащимися того же учебного заведения!)

Основной источник недоразумений, как правило, состоит в том, что о социальном мире речь ведут не ради того, чтобы рассказать, каков он есть, а ради того, чтобы поговорить о том, каким ему надлежало бы быть. Рассуждения о социальном мире почти всегда перформативны: они заключают в себе пожелания, призывы, упреки, приказы и т.д. Отсюда следует, что рассуждения социолога, хотя он старается только констатировать, с достаточной вероятностью могут восприниматься как перформативные. Если я говорю, что женщины реже мужчин отвечают на вопросы зондажей (и тем реже, чем более "политичен" вопрос), то всегда найдется кто-нибудь, упрекающий меня в исключении женщин из сферы политики. Это происходит потому, что когда я говорю то, что есть, кому-то слышится: "и хорошо, что это так". То же самое получается при описании рабочего класса таким, каков он есть: оказываешься под подозрением в стремлении ограничить судьбу рабочего класса его нынешним состоянием, в желании еще больше его унижить или в желании его прославить. Так же констатация того факта, что мужчины (и уж тем более женщины) наиболее культурно обделенных классов в своем политическом выборе чаще полагаются на партию, которую они считают своей (в настоящее время - Коммунистическую партию), была понята как увещание целиком положиться на эту партию. Действительно, в обычной жизни описывают народную еду либо только с восхищением, либо только с отвращением, никогда не стремясь понять ее логику, предложить объяснение, понять здравый смысл, иначе говоря, дать себе возможность воспринять ее, как она есть. Читатели прочитывают социологию сквозь очки своего габитуса. И некоторые найдут оправдание своему классовому расизму в реалистическом описании, которое другие заподозрят в том, что оно внушено классовым презрением.

Именно в этом основание структурного непонимания при общении социолога и его читателя.

Вопрос: Не думаете ли Вы, что Ваша манера выражаться позволяет Вам рассчитывать на читателей только из среды интеллектуалов? Не ограничивает ли это эффективность Вашей работы?

Ответ: Несчастье социолога заключается в том, что чаще всего те, кому доступны технические приемы, чтобы усвоить рассуждения социолога, не имеют никакого желания это усваивать, и даже, наоборот, имеют большой интерес в отказе от их (именно поэтому очень компетентные люди в то же время могут оказаться совершенно бессильными перед лицом социологии). В то же время те, кто заинтересован в таком усвоении, не обладают соответствующими инструментами усвоения (теоретической культурой и т.д.). Рассуждение социолога порождает сопротивление, совершенно аналогичное по своей логике и проявлениям тому, которое вызывает размышления психоаналитиков. Люди, читающие о существовании сильной корреляции между уровнем образования и посещаемостью музеев, имеют все шансы быть посетителями музеев, любителями искусства, готовыми за любовь к нему умереть, переживать свою встречу с ним как чистую любовь с первого взгляда, а также противопоставить научной объективации множество защитных систем.

Короче говоря, законы распространения научного дискурса таковы, что несмотря на существование передаточных звеньев и посредников, научная истина имеет все шансы достичь тех, кто наименее расположен ее воспринять, и очень мало шансов - тех, кто был бы наиболее заинтересован в ее восприятии. Тем не менее, можно надеяться, что достаточно предоставив этим последним язык, в котором они узнают себя, или, точнее, в котором они почувствуют себя признанными, т.е. принятыми и оправданными в том своем существовании, в котором существуют (что с необходимостью дает любая настоящая социология - наука, по определению объясняющая), чтобы вызвать перемену их отношения к тому, что они есть.

Необходимо было бы обнародовать и распространить именно научную точку зрения, одновременно объективирующую и понимающую, которая, обращенная на себя, позволяет принимать себя таким как есть, и я бы даже сказал, отстаивать свое право, право быть тем, что мы есть. Я имею в виду лозунги типа лозунга американских чернокожих "*Black is beautiful*", требований феминисток права "*natural look*", права на "естественную" внешность". Меня упрекали в использовании уничижительных оборотов при описании всех тех, кто навязывает новые жизненные потребности, а также в слепом следовании образу человека, напоминающего "естественного", но в его социализированном варианте. В действительности речь идет не о том, чтобы заключить социальных агентов в рамки "первородного социального состояния", понимаемого как судьба и природная данность, но в том, чтобы предоставить им возможность принять свой габитус без чувства вины и страдания. Это хорошо прослеживается в области культуры, где нищета часто происходит от обделенности, за которую она сама не несет ответственности. Безус-

ловно, в моей манере говорить о диетологах, визажистах, консультантах по вопросам брака и всех прочих торговцах потребностями, содержится негодование по поводу такой формы эксплуатации обездоленности, когда навязываются заранее невыполнимые нормы с тем, чтобы тут же предложить на продажу средства - чаще всего неэффективные - для ликвидации разрыва между этими нормами и реальными возможностями им соответствовать.

В этой области, совершенно игнорируемой политическим анализом, хотя объективно являющейся местом политического действия, доминируемые предоставлены сами себе; они абсолютно лишены коллективных средств защиты, чтобы противостоять доминирующим и их психоаналитикам бедности. Разумеется, было бы несложно показать, что самое ярко выраженное политическое господство использует те же самые пути: в книге "Различение" главу об отношении между культурой и политикой я хотел предварить фотографией, которую я в итоге не поместил из опасения, что она будет неверно истолкована. На фотографии можно было видеть Мэра и Сеги, сидящих на стульях в стиле Людовика XV, напротив Жискара д'Эстена, сидящего на канapé того же стиля. Это изображение указывало со всей очевидностью - посредством манеры сидеть, держать руки, короче, через весь телесный облик - на того из участников, кому принадлежала вся эта культура, то есть мебель, декор, стулья в стиле Людовика XV, равно как и умение держаться и всем этим пользоваться, указывало на того, кто владеет этой объективированной культурой и на тех, кто страстно жаждет этой культуры, во имя владения ею. Если перед патроном профсоюзный деятель чувствует себя в глубине души, как говорится, "в стоптанных башмаках", то это происходит отчасти хотя бы потому, что он располагает только очень общими и абстрактными приемами анализа и самоанализа, которые не позволяют ему учитывать и контролировать свою речь и внешний стиль поведения. Наличные у него в распоряжении теории и аналитические приемы оставляют его в исключительно тяжелом состоянии потерянности (так же, как состояние потерянности испытывает его жена, находясь на кухне дешевой муниципальной квартиры перед разглагольствованиями ведущих "Радио-Телевидения Люксембурга" или "Европы"), поскольку сквозь него пропускают свои рассуждения множество людей: именно через его словоизъявление и внешнее поведение высказывается целая группа, и его реакцией, обобщенные таким образом, могут быть, без его ведома, предопределены его отвращением к длинноволосым пижонам или интеллектуалам в очках.

Вопрос: Не навязывает ли Ваша социология детерминистского взгляда на человека? Какое место отводится человеческой свободе?

Ответ: Как всякая наука социология признает принцип детерминизма, понимаемый как форма принципа достаточности основания. Наука, которая должна объяснять то, что существует, тем самым постулирует, что ничто не существует без основания. Социолог добавляет социальное: без собственно социального основания. Глядя на статистическое распределение, он постулирует, что существует объясняющий его социальный фактор, и если, после того как этот фактор найден, что-то остается за рамками этого объяснения, он постулирует, что существует другой социальный фактор и так далее. (Это иногда наводит на мысль о социологическом империализме: на самом деле это честно и каждая наука должна своими собственными средствами учитывать наибольшее число возможных предметов, включая те, что потенциально или реально объясняются другими науками. Именно при этих условиях она может ставить перед другими науками, как и перед собой, истинные вопросы и ниспровергать мнимые объяснения или ясно ставить проблему сверхдетерминации.)

При этом, в слове "детерминизм" часто смешивают два совершенно разные понятия: объективную необходимость, заключенную в вещах, и "пережитую", видимую, субъективную необходимость, чувство необходимости или свободы. То, в какой степени социальный мир кажется нам предопределенным, зависит от тех знаний, которые мы о нем имеем. И наоборот, та степень, в какой этот мир реально предопределен, не является вопросом мнения; как социолог я не обязан быть "за детерминизм" или "за свободу", но обязан обнаруживать необходимость, если она существует, там, где она есть. В силу того, что всякий прогресс в познании законов социального мира увеличивает степень воспринимаемой необходимости, естественно, что социальная наука вызывает тем больше упреков в "детерминизме", чем более она продвигается в познании.

Вопреки создающемуся впечатлению, именно увеличивая степень воспринимаемой необходимости и предоставляя лучшее знание законов социального мира, социальная наука дает больше свободы. Всякий прогресс в познании необходимости есть прогресс возможной свободы. В то время как непризнание необходимости содержит в себе форму признания необходимости, - безусловно, наиболее абсолютную и всеобщую, поскольку она игнорирует сама себя, - в то время как познание необходимости вовсе не предполагает необходимость ее признания. Наоборот, познание необходимости выявляет возможность выбора, который заключается во

всякой связи типа "если имеется это, тогда будет то-то"; ведь свобода, состоящая в выборе между "если" и отказом от него, лишена смысла до тех пор, пока не известна связь, соединяющая "если" и "тогда". Выявление законов, предполагающих добровольность при совершении действия (т.е. неосознанное принятие условий, при которых реализуются предвосхищаемые последствия), расширяет область свободы. Непознанный закон воспринимается как природа или как судьба (например, связь между унаследованным культурным капиталом и успехами в системе образования); познанный закон выступает как возможность свободы.

Вопрос: Не опасно ли говорить о законах?

Ответ: Да, без всякого сомнения. Я по возможности избегаю этого. Те, кто заинтересован в *laissez-faire* (т.е. в том, чтобы не менялось "если"), воспринимают "закон" (коли они его воспринимают) как судьбу, как фатальность, содержащуюся в социальной природе (таковы, например, железные законы олигархии неомакиавеллистов: Михельса или Моска). В реальности же социальный закон является законом историческим, который действителен до тех пор, пока ему позволяют действовать, т.е. до тех пор, пока те, кто им пользуется (иногда без их собственного ведома), в состоянии продлевать условия его действия.

Стоит задаться вопросом о том, что происходит, когда выявляется дотеле неизвестный социальный закон (например, закон передачи культурного капитала). Можно претендовать на установление вечного закона, как это делают консервативные социологи в отношении тенденции к концентрации власти. На самом деле, наука должна помнить, что она лишь регистрирует в форме законов-тенденций логику, характеризующую некую игру сил в некий момент, действующую в пользу того, кто, господствуя в игре, в состоянии определять фактически и по праву правила этой игры.

Следовательно, как только выявлен определенный закон, он может стать ставкой в борьбе - борьбе за консервацию, путем сохранения условий функционирования данного закона и борьбе за трансформацию, путем изменения этих условий. Выявление законов-тенденций есть условие успеха действий, нацеленных на их ниспровержение. Доминирующие заодно с этим законом, т.е. с его физикалистской интерпретацией, превращающей его в бессознательный механизм. Напротив, доминируемые заинтересованы в выявлении закона как такового, т.е. как закона исторического, который может быть отменен, если будут отменены условия его функционирования. Знание закона дает им шанс и возможность противостоять его воздействиям, т.е. дает ту возможность, которой не существует, пока закон неизвестен и пока он проявляется вопреки тем, кто подвергается его действию. Короче, снимая представление о естественности, социология избавляет от фатализма.

Вопрос: Разве нет риска в том, что все более продвинутое познание социума может охладить любые политические усилия по преобразованию социального мира?

Ответ: Именно знание о наиболее вероятном дает возможность (с учетом других целей) осуществиться наименее вероятному. Только сознательно играя с логикой социального мира, можно заставить реализоваться те возможности, которые не считаются вписанными в эту логику.

Настоящее политическое действие состоит в том, чтобы пользоваться знанием о вероятном ради усиления шансов возможного. Оно противостоит утопизму, который, подобно магии, намерен воздействовать на мир рассуждениями о должном. Суть политического действия - выразить и использовать, чаще бессознательно, чем сознательно, возможности, заключенные в социальном мире, в его противоречиях и имманентных тенденциях. Социолог описывает условия, - что и заставляет порой сожалеть об отсутствии "политики" в его рассуждениях, - с которыми политическое действие должно считаться и которые определяют его успех или поражение (сегодня, например, - это массовая разочарованность молодежи). Таким образом, социолог предостерегает от ошибки принимать следствие за причину и рассматривать в качестве результата политического действия исторические условия его действительности. Все это с учетом эффекта, который может быть произведен политическим действием, откуда оно, самим фактом их выражения и управляемого проявления, сопровождает и усиливает диспозиции, порожденные не им и ему предшествующие.

Вопрос: Возникает некоторая обеспокоенность относительно тех выводов, которые можно сделать, естественно, если Вас неправильно истолковать, из самой природы высказанного Вами сейчас мнения. Не рискуют ли такие рассуждения произвести демобилизующий эффект?

Ответ: Сделаю некоторые уточнения. Социология обнаруживает, что представление о личном мнении (как и о личном вкусе) - это иллюзия. Из этого делают заключение, что социология является редукционистской, что она разочаровывает, что, отнимая у людей иллюзии, она их демобилизует.

Означает ли это, что можно мобилизовать людей только на основе иллюзий? Если справедливо, что представление о личном мнении само социально предопределено, что оно есть продукт истории, воспроизводимый образованием, и что наши мнения предопределены, то лучше это знать. Если у нас и есть шанс иметь личное мнение, это возможно только при условии осознания, что наше мнение становится таковым не спонтанно.

Вопрос: Социология является одновременно деятельностью академической и деятельностью критической, тем самым политической. Не правда ли, здесь есть противоречие?

Ответ: Социология в том виде, в каком мы ее знаем, возникла, по крайней мере во Франции, из противоречия или недоразумения. Дюркгейм сделал все необходимое для существования социологии в качестве университетски признанной науки. Как только любая деятельность предстает университетской дисциплиной, вопрос о ее назначении и назначении тех, кто ею занимается, не возникает: достаточно вспомнить археологов, филологов, историков Средневековья, синологов, специалистов по истории классической философии, у которых никогда не спрашивают, зачем они нужны, зачем нужно то, что они делают, на кого они работают, кто нуждается в их работе. Никто не ставит под вопрос их деятельность, и они чувствуют себя от этого в полном праве делать то, что они делают. Социологии в этом отношении не везет... Тем упорнее ставится под вопрос сам смысл ее существования, чем более она уклоняется от принятого и предписанного основателями определения ее научной практики, - определения социологии как чистой науки, такой же как другие наиболее чистые, "бесполезные" и "незаинтересованные" академические науки - вроде "папирусологии" или "гомероведения", - которым даже самые репрессивные режимы оставляют возможность продержаться и где находят убежище специалисты "горячих" наук. Известно, какую работу вынужден был проделать Дюркгейм, чтобы придать социологии этот "чистый" и чисто научный вид, т.е. "нейтральный" и спокойный: подчеркнутые заимствования из естественных наук, множество знаков разрыва с внешними функциями и политикой, такие как предварительная дефиниция и т.д.

Иначе говоря, социология с самого возникновения, по сути своего возникновения, является наукой двусмысленной, двойственной, замаскированной; ей пришлось согласиться быть забытой и отверженной, отречься от себя как от науки политической, чтобы быть признанной в качестве университетской науки. Не случайно этнология сталкивается с гораздо меньшими проблемами, чем социология.

Однако социология может также пользоваться своей автономией для поиска истины, которую никто не требует среди тех, кто в состоянии ее заказать или кредитовать. Социология может обрести в надлежащем использовании институциональной автономии, обеспечиваемой статусом университетской дисциплины, условия эпистемологической автономии и попытаться предоставить то, что никто в действительности у нее не спрашивает, т.е. истину о социальном мире. Понятно, что такая социологически невозможная наука, способная срывать покровы с того, что социо-логически должно оставаться скрытым, может возникнуть только в результате обмана относительно своих целей и что тот, кто стремится заниматься социологией как наукой, вынужден беспрестанно воспроизводить это первородное плутовство, *larvatus prodeo*.

Истинно научная социология — это социальная практика, которая социо-логически существовать бы не должна. Лучшим доказательством служит факт того, что социальное существование этой науки оказывается под угрозой, как только она отказывается замыкаться в предначертанной альтернативе: чистой науки, способной научно анализировать социально незначимые объекты, либо ложной науки, обустроивающей и оберегающей установленный социальный порядок.

Вопрос: Не стремится ли социология научно ответить на традиционные вопросы философии и в некоторой мере закрыть их с помощью диктатуры разума?

Ответ: Я думаю, что поначалу так оно и было. Основатели социологии намеренно ставили перед собой эту цель. Не случайно, к примеру, первым объектом социологии стала религия: последователи Дюркгейма обрушились разом на преимущественный (для определенного времени) инструмент построения мира, и особенно мира социального. Я думаю также, что некоторые традиционные вопросы философии могут быть заново поставлены в научных понятиях (именно это я попытался сделать в своей книге "Различения"). Та социология, которую я представляю, состоит в преобразовании метафизических проблем в проблемы, поддающиеся научной, а значит и политической трактовке. Это означает, что социология, как и все науки, выстраивается в противовес философской, или, скорее, пророческой установке на всеобщность. Суждения, которые, как отмечает Вебер, претендуют предоставить тотальные ответы на тотальные вопросы и, в частности, на "вопросы жизни и смерти". Иначе говоря, социология формировалась с установкой отторгнуть у философии некоторые из ее проблем, отказываясь при этом от

пророческих намерений, присущих последней. Она порвала с социальной философией и всеми, облюбованными той, конечными вопросами, такими как вопрос о смысле истории, о прогрессе и упадке, о роли личности в истории и т.д. И все же именно с этими проблемами сталкиваются социологи при выполнении самых элементарных профессиональных операций. Например, манера задавать вопрос, своей формой и содержанием того, о чем спрашивают, предполагает, что вся практическая деятельность предопределена непосредственными условиями существования или всей предыдущей историей. Только при условии, что все это будет осознано и соответствующим образом будет ориентирована вся их работа, социологи могут избежать опасности оказаться замешанными вопреки своей воле в социальную философию. Например, спрашивать кого-либо прямо, к какому социальному классу он принадлежит, или, наоборот, пытаться определить "объективно" его место, спрашивая о зарплате, должности, уровне образования и т.д., - означает сделать решительный выбор между двумя противоположными философскими системами практики и истории. Выбор неокончательный, пока он не сформулирован как таковой самим фактом одновременной постановки этих двух вопросов.

Вопрос: Почему Вы постоянно сурово высказываетесь против теории, которую Вы, похоже, почти всегда отождествляете с философией? На самом деле Вы сами занимаетесь теорией, даже когда обороняетесь от нее.

Ответ: То, что называют теорией, чаще всего является выпяченной речью учебников. Теоретизация часто всего лишь форма "учебнической", *manualisation*, как где-то сказал Кено. Не упуская игры слов, я мог бы это прокомментировать, цитируя Маркса: "Философия для изучения реального мира то же, что онанизм для половой любви". Если бы во Франции все это знали, то социальная наука "шагнула бы далеко вперед", как говорил этот последний. Что касается того, занимаюсь я теорией, или нет, то достаточно договориться по части понятий. Теоретическая проблема, переведенная в исследовательский инструмент, начинает работать и становится в какой-то мере самодвижущейся. Она продвигается благодаря трудностям, которые сама порождает, так же как и решениям, которые приносит.

Один из секретов занятия социологией заключается в умении найти эмпирические объекты, в отношении которых могут быть поставлены действительно исследовательские проблемы общего порядка. Например, вопрос о реализме и формализме в искусстве, который в какой-то момент в определенном контексте стал вопросом политическим, может быть поставлен эмпирически, о связи народных классов с фотографией или по поводу реакции на некоторые телеспектакли и т.д. Он с таким же успехом и притом одновременно может быть поставлен по поводу фронтальности византийских мозаик или по поводу изображения Короля-Солнца в живописи, либо в историографии. Итак, поставленные таким образом теоретические проблемы настолько глубоко преобразованы, что любители теории не признают в них своих любимцев.

Логикой исследований является именно такое сцепление проблем, в которое исследователь попадает и которое влечет его как бы помимо воли. Лейбниц в "*Animadversiones*" беспрестанно упрекал Декарта в завышенных запросах к интуиции, вниманию, рассудку и в недоверии к автоматизмам "слепой мысли" (он имел в виду алгебру), способной восполнять прерывность рассудочности. Во Франции, стране эссеизма, оригинальности, разума, не понимают именно то, что метод и коллективная организация исследовательской работы могут производить такую способность понимания, такую сложную систему проблем и методов, которая более разумна, чем отдельные исследователи (добавлю, в мире, где все ищут оригинальности, истинной оригинальностью является та, которую не ищут, - я имею в виду необыкновенное исключение, каким была школа Дюркгейма). Быть по-научному разумным означает ставить себя в ситуацию, генерирующую истинные проблемы, истинные трудности. Именно это я и попытался сделать с исследовательской группой, которой руковожу: работающая исследовательская группа - это институционализированное сцепление исследовательских проблем и приемов их решения, сеть взаимоконтроля и одновременно вся совокупность продукции, которая, вопреки любому навязыванию норм и любой теоретической и политической ортодоксии, несет в себе дух семейственности.

Вопрос: Вы определяете социальный класс по объему и структуре капитала. Как Вы определяете вид капитала? Относительно экономического капитала Вы, кажется, прибегаете исключительно к статистическим данным INSEE², а относительно культурного капитала - к дипломам и званиям системы образования. Можно ли, исходя из этого, действительно построить социальные классы?

Ответ: Это старый спор. Я объясняю это в книге "Различия". Мы стоим перед альтернативой: либо чистая и негибкая теория социальных классов, в основе которой нет эмпирических данных (например, о позиции в производственных отношениях и т.д.) и которая практически неэффективна для описания состояния социальной структуры и ее трансформаций, либо эмпирические работы, как те, что представляет INSEE, не опирающиеся ни на какую теорию, но предоставляющие единственно доступную информацию для анализа деления по классам. Со своей стороны, я попытался преодолеть то, что трактовалось как *теологическая* оппозиция между теориями социальных классов и теориями социальной стратификации, - оппозиция, которая прекрасно уживается в обучении и мышлении по типу Диамата, но которая в действительности является лишь отражением состояния разделения интеллектуального труда. Я же попытался предложить теорию одновременно более сложную (принимая во внимание игнорируемые состояния капитала классической теории) и более эмпирически обоснованную, но вынужденную прибегать к несовершенным показателям типа тех, что поставляются INSEE. Я не так наивен, чтобы не заметить, что показатели, поставляемые INSEE, даже если речь идет о наличии акций, не являются хорошими индексами имеющегося экономического капитала. И не надо быть providem, чтобы это увидеть. Но есть случаи, когда теоретический пуризм становится алиби невежества или практической несостоятельности. Наука состоит в том, чтобы заниматься тем, чем занимаешься, одновременно зная и говоря открыто о том, что делаешь все из возможного, и сообщать о *пределах* действенности того, чем занимаешься.

Тогда вопрос, который Вы мне задали, в действительности заслоняет другую проблему. Что хотят сказать, когда говорят или пишут, как это часто делается: что же в конечном счете социальные классы для такого-то ученого? Когда задаю подобный вопрос, чувствуют себя уверенными в полном одобрении тех, кто, будучи убежден, что проблема классов уже решена и что достаточно лишь сослаться на канонические тексты (это и экономно, и удобно), бросает подозрение на всех тех, кто самим фактом проведения исследований совершает предательство, поскольку считает, что еще не все открыто. Эта стратегия подозрения, вписывающаяся как особо вероятная в определенный классовый габитус, неотразима и приносит огромное удовлетворение всем, кто ее придерживается, поскольку она позволяет задешево удовлетворять себя тем, что имеешь, и тем, чем являешься. Вот почему она мне представляется научно и политически омерзительной.

Действительно, я постоянно обращаюсь к основаниям вещей, которые считаются само собой разумеющимися. Мы знаем, что такое капитал... Достаточно прочесть "Капитал" или еще лучше "Читая Капитал"³. Кто против... Однако, на мой взгляд это не верно, и если всегда существовала пропасть между теоретической теорией и эмпирическими описаниями, то, видимо, потому, что анализ видов капитала еще предстояло сделать. Та пропасть, из-за которой люди, знающие лишь марксизм, оказываются полностью безоружными в понимании новых форм социальных конфликтов в их исторической оригинальности, например, социальных конфликтов, которые связаны с противоречиями функционирования системы образования. Для преодоления этого нужно было отказаться от очевидностей и не ради удовольствия продемонстрировать еретическое чтение, т.е. чтение ради проведения различия.

Возвращаясь теперь к видам капитала, я имею в виду, что это очень сложный вопрос, и отдаю себе отчет, что, принимаясь за него, рискую, оказываясь вне твердых опор установленных истин, обеспечивающих немедленное одобрение, уважение и т.д. (При этом, я думаю, самые научно плодотворные позиции чаще всего бывают самыми рискованными, т.е. социально самыми невероятными.) В отношении экономического капитала я полагаюсь на других, это не моя область. То, чем я занимаюсь, другими заброшено, поскольку у них либо нет к этому интереса, либо теоретических инструментов. Это — культурный и социальный капитал. И я лишь недавно попытался окончательно подготовить учебные разъяснения этих понятий. Я пытаюсь построить четкие дефиниции, которые не были бы лишь описательными понятиями, но инструментами конструирования, позволяющими делать невиданные ранее вещи. Возьмем, к примеру, социальный капитал: можно дать о нем интуитивное представление, сказав, что это то, что обыденный язык называет "связями". (Случается, что обыденный язык обозначает очень важные социальные явления; но одновременно он их и маскирует вследствие эффекта близкого знания, заставляющего считать, что все уже известно и понято, и тем самым останавливающего исследование. Частично усилия социальной науки направлены на раскрытие всего того, что раскрывает/скрывает обыденный язык. Из-за этого приходится подвергаться упрекам в том, что гово-

³ Имеется в виду книга Л. Альтюссера. - Прим. перев.

ришь об очевидных вещах или, того хуже, что занимаешься нарочитым переводом на тяжело-весный концептуальный язык основных истин здравого смысла или прозрений, более тонких и одновременно более приятных у моралистов и романистов. Вплоть до упреков социологу в высказывании суждений одновременно банальных и ложных, что само по себе свидетельствует - по логике Фрейда - о потрясающем сопротивлении, с которым сталкивается социологический анализ.)

Итак, вернемся к социальному капиталу. Выстроить это понятие означает создать способ изучения логики, согласно которой этот особый вид капитала накапливается, передается, воспроизводится, создать способ понимания, как он трансформируется в экономический капитал, и наоборот, ценой каких усилий экономический капитал может конвертироваться в социальный, создать способ уяснения функции таких институтов, как клубы, или просто семья - основное место аккумуляции и передачи этого вида капитала и т.д. Как мне кажется, это далеко от "связей" в обыденном понимании, являющихся лишь одним из многих проявлений социального капитала. "Светская хроника" и все, что сообщает светский дневник журналов *"Figaro"*, *"Vogue"* или *"Jours de France"*, перестает быть образцовым проявлением жизни "праздного класса" или "демонстративного потребления" богачей, как это обычно полагают, и предстает как особая форма социальной деятельности, которая предполагает трату денег, времени и специфическую компетенцию и которая направлена на обеспечение воспроизводства (простого или расширенного) социального капитала. (Замечу по ходу, что некоторым выступлениям весьма критического толка не достает главного. Разумеется, исключительно потому, что интеллектуалы не очень "чувствительны" к той форме проявления социального капитала, которая накапливается и циркулирует на светских вечерах, и склонны скорее ухмыляться со смешанным чувством очарованности и злости, нежели анализировать.)

Пришлось выстроить объект исследования, который я называю социальным капиталом, - позволивший сразу увидеть, что коктейли у издателей или обмен рецензиями в интеллектуальном поле эквивалентны светской деятельности аристократов, - чтобы увидеть, что светская жизнь для некоторых людей, власть и авторитет которых покоятся на социальном капитале, является их основной деятельностью. Предприятие, основанное на социальном капитале, должно обеспечивать свое собственное воспроизводство в специфической форме деятельности (торжественное открытие памятников, председательство в благотворительных акциях и т.д.), что предполагает занятие, а значит обучение, а также трату времени и энергии. Как только этот объект выстроен, можно браться за настоящие сравнительные исследования, можно подискутировать с историками о проблеме знатности в Средние века, перечитать Сен-Симона или Пруста или, разумеется, работы этнологов.

Итак, Вы были совершенно правы, задавая свой вопрос. Поскольку то, чем я занимаюсь, отнюдь не теоретическая работа, а работа научная, мобилизующая все теоретические ресурсы для нужд эмпирического анализа, предлагаемые мной понятия не всегда являются тем, чем они должны были бы быть. Так, я беспрестанно ставлю перед собой проблему конверсии одного вида капитала в другой (хотя и в терминах, меня самого не всегда удовлетворяющих). Это пример проблемы, которая не могла быть поставлена эксплицитно до того, как было выстроено понятие о виде капитала (между тем, как сама проблема ставилась, еще не будучи распознанной). В практике эта проблема известна: так, в неких играх (например, в интеллектуальном поле, для получения литературной премии или, тем более, для получения признания со стороны коллег) экономический капитал недейственен. Чтобы он стал действенным, его необходимо подвергнуть трансмутации: такова, к примеру, функция светской деятельности, позволяющей преобразовывать экономический капитал, оказывающийся всегда в основании, в знатность. Но и это еще не все. По каким законам осуществляется эта конверсия? Как определяется учетная ставка, по которой обменивается один вид капитала в другой? Во все времена существует постоянная борьба по поводу ставки обмена между разными видами капитала, борьба, сталкивающая друг с другом различные слои господствующего класса, общий капитал которых составлен в большей или меньшей мере из того или иного вида капитала. Те, кого в XIX веке называли "со способностями", постоянно заинтересованы в переоценке культурного капитала по отношению к капиталу экономическому. Отсюда понятно (это-то и составляет трудность социологического анализа), - что взятые нами объекты исследования - культурный капитал, экономический капитал и т.д., - сами оказываются ставками в борьбе в изучаемой нами реальности, и что все, сказанное нами по этому поводу, окажется еще одной ставкой в борьбе.

Анализ этих законов конверсии не завершен, до этого еще далеко, и если есть кто-то, перед кем в этой связи возникают проблемы, так это я. И это хорошо. Есть множество очень плодотворных, на мой взгляд, вопросов, которые я ставлю себе сам либо их ставя передо мной дру-

гие, есть ряд возражений, которые мне делают и которые стали возможными только благодаря выделенным различиям. Исследовательская деятельность - это, видимо, искусство создавать себе плодотворные трудности и создавать их другим. Там, где раньше были простые вещи, возникают проблемы. Таким образом сталкиваешься снова и снова с гораздо более вязкими и непростыми вещами. (Вы ведь понимаете, что я смог бы читать, не проливая слез над социальными классами, один из тех курсов марксизма, что расплодился в последнее время под именем теории, даже под именем науки или даже социологии.) Сталкиваешься с вещами, которые одновременно заставляют думать и вызывают беспокойство. (Я-то знаю, какой эффект производит на стражей ортодоксии то, чем я занимаюсь, и, думаю, мне известно кое-что из того, почему я произвожу такой эффект, и я восхищен, что это производит такой эффект.) Мысль о том, что можно быть тем человеком, кто заставляет задумываться и одновременно вызывает беспокойство, меня устраивает вполне.

Перевод с французского Г.А. ЧЕРЕДНИЧЕНКО